

Annotation

За свою жизнь Николай Васильевич Гоголь совершил множество путешествий. И поездка в Любек в июле 1829 года стало только первым из них. А отправился он в то лето в Германию, чтобы хоть как-то избавиться от горечи поражения — его первое сочинение, романтическая поэма «Ганс Кюхельгартен», опубликованная под псевдонимом Алов, ничего кроме разочарования ему не принесла. Поэму решительно не желали покупать, критики отзывались о ней крайне негативно, так что сам начинающий автор был вынужден скупить весь тираж и уничтожить. Поездка на чужбину представлялась ему спасительной: так можно было хоть как-то забыться и начать новую жизнь.

- [Николай Васильевич Гоголь](#)

- - [КАРТИНА I](#)
 - [КАРТИНА II](#)
 - [КАРТИНА III](#)
 - [КАРТИНА IV](#)
 - [КАРТИНА VI](#)
 - [КАРТИНА VII](#)
 - [КАРТИНА VIII](#)
 - [КАРТИНА IX](#)
 - [КАРТИНА X](#)
 - [КАРТИНА XI](#)
 - [КАРТИНА XIII](#)
 - [КАРТИНА XVI](#)
 - [КАРТИНА XVII](#)
 - [КАРТИНА XVIII](#)
 - [ЭПИЛОГ](#)
 - [КОММЕНТАРИИ К «ГАНЦУ КЮХЕЛЬГАРТЕНУ»](#)
 - [БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА](#)
-

Николай Васильевич Гоголь

ГАНЦ КЮХЕЛЬГАРТЕН

Идиллия в картинах

Предлагаемое сочинение никогда бы не увидело света, если бы обстоятельства, важные для одного только Автора, не побудили его к тому. Это произведение его восемнадцатилетней юности. Не принимаясь судить ни о достоинстве, ни о недостатках его, и предоставляя это просвещенной публике, скажем только то, что многие из картин сей идиллии, к сожалению, не уцелели; они, вероятно, связывали более ныне разрозненные отрывки и дорисовывали изображение главного характера. По крайней мере мы гордимся тем, что по возможности споспешествовали свету ознакомиться с созданием юного таланта.

КАРТИНА I

Светаёт. Вот проглянула деревня,
Дома, сады. Всё видно, всё светло.
Вся в золоте сияет колокольня
И блещет луч на стареньком заборе.
Пленительно оборотилось всё
Вниз головой, в серебряной воде:
Забор, и дом, и садик в ней такие ж.
Всё движется в серебряной воде:
Синеет свод, и волны облак ходят,
И лес живой вот только не шумит.

На берегу далеко вшедшем в море,
Под тенью лип, стоит уютный домик
Пастора. В нем давно старик живет.
Ветшает он, и старенькая кровля
Посунулась; труба вся почернела;
И лепится давно цветистый мох
Уж по стенам; и окна искосились;
Но как-то мило в нем, и ни за что
Старик его б не отдал.
Вот та липа,
Где отдыхать он любит, тож дряхлеет.
Зато вокруг ней зеленые прилавки
Из дерну свежего.
В дуплистых норах
Ее гнездятся птички, старый дом
И сад веселой песнью оглашая.
Пастор всю ночь не спал, да пред рассветом
Уж вышел спать на чистый воздух;
И дремлет он под липой в старых креслах,
И ветерок ему свежит лицо,
И белые взвевает волоса.

Но кто прекрасная подходит?
Как утро свежее, горит

И на него глаза наводит?
Очаровательно стоит?
Взгляните же, как мило будит
Ее лилейная рука,
Его касаясь слегка,
И возвратиться в мир наш нудит.
И вот в полглаза он глядит,
И вот спросонья говорит:

«О дивный, дивный посетитель!
Ты навестил мою обитель!
Зачем же тайная тоска
Всю душу мне насквозь проходит,
И на седого старика
Твой образ дивный сдалека
Волненье странное наводит?
Ты посмотри: уже я хил,
Давно к живущему остыл,
Себя погреб в себе давно я,
Со дня я на день жду покоя,
О нем и мыслить уж привык,
О нем и мелет мой язык.
Чего ж ты, гостья молодая,
К себе так пламенно влечешь?
Или, жилища неба-рая,
Ты мне надежду подаешь,
На небеса меня зовешь?
О, я готов, да недостойн.
Велики тяжкие грехи:
И я был злой на свете воин,
Меня робели пастухи;
Мне лютые дела не новость;
Но дьявола отрекся я,
И остальная жизнь моя —
Заплата малая моя
За прежней жизни злую повесть...»

Тоски, смятения полна,
«Сказать» — подумала она —

«Он, бог знает, куда заедет...
Сказать ему, что он ведь бредит».

Но он в забвенье погружен.
Его объемлет снова сон.
Склонясь над ним, она чуть дышет.
Как поживает! как он спит!
Вздых чуть заметный грудь колышет;
Незримым воздухом обвит,
Его архангел сторожит;
Улыбка райская сияет,
Чело святое осеняет.

Вот он открыл свои глаза:
«Луиза, ты ль? мне снилось... странно...
Ты поднялась, шалунья, рано;
Еще не высохла роса.
Сегодня, кажется, туманно».

«Нет, дедушка, светло, свод чист;
Сквозь рощу солнце светит ярко;
Не колыхнется свежий лист,
И по утру уже всё жарко.
Узнаете ль, зачем я к вам? —
У нас сегодня будет праздник.
У нас уж старый Лодельгам,
Скрыпач, с ним Фриц проказник;
Мы будем ездить по водам...

Когда бы Ганц...» Добросердечный
Пастор с улыбкой хитрой ждет,
О чем рассказ свой поведет
Младенец резвый и беспечный.
«Вы, дедушка, вы можете помочь
Одни неслыханному горю:
Мой Ганц страх болен; день и ночь
Всё ходит к сумрачному морю;
Всё не по нем, всему не рад,
Сам говорит с собой, к нам скучен,

Спросить — ответит невпопад,
И весь ужасно как измучен.
Ему зазнаться уж с тоской —
Да эдак он себя погубит.
При мысли я дрожу одной:
Быть может, недоволен мной;
Быть может, он меня не любит. —
Мне это — в сердце нож стальной.
Я вас просить, мой ангел, смею...»
И кинулась к нему на шею,
Стесненной грудью чуть дыша;
И вся зарделась, вся смешалась
Моя красавица-душа;
Слеза на глазках показалась...
Ах, как Луиза хороша!

«Не плачь, спокойся, друг мой милый!
Ведь стыдно плакать, наконец»,
Духовный молвил ей отец. —
«Бог нам дарит терпенье, силы;
С твоей усердною мольбой,
Тебе ни в чем он не откажет.
Поверь, Ганц дышет лишь тобой;
Поверь, он то тебе докажет.
Зачем же мыслию пустой
Душевный растравлять покой?»
Так утешает он свою Луизу,
Ее к груди дряхлеющей прижав.
Вот старая Гертруда ставит кофий
Горячий и весь светлый, как янтарь.
Старик любил на воздухе пить кофий,
Держа во рту черешневый чубук.
Дым уходил и дельцами ложился.
И, призадумавшись, Луиза хлебом
Кормила с рук своих кота, который
Мурлыча крался, слыша сладкий запах.
Старик привстал с цвеченых старых кресел,
Принес мольбу и руку внучке подал;
И вот надел нарядный свой халат,

Весь из парчи серебряной, блестящей,
И праздничный неношенный колпак —
Его в подарок нашему пастору
Из города привез недавно Ганц, —
И, опираясь на плечо Луизы
Лилейное, старик наш вышел в поле.
Какой же день! Веселые вились
И пели жавронки; ходили волны
От ветру золотого в поле хлеба;
Сгустились вот над ними деревья,
На них плоды пред солнцем наливались
Прозрачные; вдали темнели воды
Зеленые; сквозь радужный туман
Неслись моря душистых ароматов;
Пчела работница срывала мед
С живых цветов; резвунья стрекоза
Треща вилась; разгульная вдали
Неслася песнь, — то песнь гребцов удалых.
Редееет лес, видна уже долина,
По ней мычат игривые стада;
А издали видна уже и кровля
Луизина; краснеют черепицы
И ярко луч по краям их скользит.

КАРТИНА II

Волнуем думой непонятной,
Наш Ганц рассеянно глядел
На мир великий, необъятной,
На свой неизвестный удел.
Доселе тихий, безмятежной
Он жизнью радостно играл;
Душой невинною и нежной
В ней горьких бед не прозревал;
Земного мира уроженец,
Земных губительных страстей
Он не носил в груди своей,
Беспечный, ветренный младенец.
И было весело ему.
Он разрезвлялся мило, живо
В толпе детей; не верил злу;
Пред ним цвел мир как бы на диво.
Его подруга с детских дней
Дитя-Луиза, ангел светлый,
Блистая прелестью речей;
Сквозь кольца русые кудрей
Лукавый взгляд жег неприметно;
В зеленой юбочке сама
Поет, танцует ли она —
Всё простодушно, в ней всё живо,
Всё детски в ней красноречиво;
На шейке розовый платок
С груди слетает понемножку,
И стройно белый башмачок
Ее охватывает ножку.
В лесу ль играет вместе с ним —
Его обгонит, всё проникнет,
В куст притаясь с желаньем злым,
Ему вдруг в уши громко крикнет —
И испугает; спит ли он —
Ему лицо всё разрисует,

И, звонким смехом пробужден,
Он покидает сладкий сон,
Шалунью резвую целует.

Уходит за весной весна.
Круг детских игр их стал уж скромн. —
Меж ними резвость не видна;
Огонь очей его стал томен,
Она застенчиво-грустна.
Они понятно угадали
Вас, речи первые любви!
Покуда сладкие печали!
Покуда радужные дни!
Чего б желать с Луизой милой?
Он с ней и вечер, с ней и день,
К ней привлечен он дивной силой,
Как верно бродящая тень.
Полны сердечного участия,
Не наглядятся старики
Их простодушные на счастье
Своих детей; и далеки
От них дни горя, дни сомнений:
Их осеняет мирный Гений.

Но скоро тайная печаль
Им овладела; взор туманен,
И часто смотрит он на даль,
И беспокоен весь и странен.
Чего-то смело ищет ум,
Чего-то тайно негодует;
Душа, в волненьи темных дум,
О чем-то, скорбная, тоскует;
Он как прикованный сидит,
На море буйное глядит.
В мечтаньи всё кого-то слышит
При стройном шуме ветхих вод.

Или в долине ходит думный;
Глаза торжественно блестят,
Когда несется ветер шумный
И громы жарко говорят;
Огонь мгновенный колет тучи;
Дождя источники горячи
Секутся звучно и шумят. —
Иль в час полночи, в час мечтаний
Сидит за книгою преданий,
И, перевертывая лист,
Он ловит буквы в ней немые
— Глаголят в них века седые,
И слово дивное гремит. —
Час углубясь в раздумьи целой,
С нее и глаз он не сведет;
Кто мимо Ганца ни пройдет,
Кто ни посмотрит, скажет смело:
Назад далеко он живет.
Чудесной мыслью очарован,
Под дуба сумрачную сень
Идет он часто в летний день,
К чему-то тайному прикован;
Он видит тайно чью-то тень,
И к ней он руки простирает,
Ее в забвеньи обнимает. —

А простодушна и одна
Луиза-ангел, что же? где же?
Ему всем сердцем предана,
Не знает, бедненькая, сна;
Ему приносит ласки те же;
Его рученкой обовьет;
Его невинно поцелует;
Он на минуту растоскует
И снова то же запоет.

Они прекрасны, те мгновенья,
Когда прозрачною толпой
Далеко милые виденья

Уносят юношу с собой.
Но если мир души разрушен,
Забыт счастливый уголок,
К нему он станет равнодушен,
И для простых людей высок,
Они ли юношу наполнят?
И сердце радостью ль исполнят?

Пока в жилище суеты
Его подслушаем украдкой,
Доселе бывшие загадкой,
Разнообразные мечты.

КАРТИНА III

Земля классических, прекрасных созиданий,
И славных дел, и вольности земля!
Афины, к вам, в жару чудесных трепетаний,
Душой приковываюсь я!
Вот от треножников до самого Пирея
Кипит, волнуется торжественный народ;
Где речь Эсхинова, гремя и пламенея,
Всё своенравно вслед влечет,
Как воды шумные прозрачного Иллиса.
Велик сей мраморный изящный Парфенон!
Колон дорических он рядом обнесен;
Минерву Фидий в нем переселил резцом,
И блещет кисть Парразия, Зевксиса.
Под портиком божественный мудрец
Ведет высокое о дольном мире слово;
Кому за доблести бессмертие готово,
Кому позор, кому венец.
Фонтанов стройных шум, нестройных песней клики;
С восходом дня толпа в амфитеатр валит,
Персидский кандис весь испещренный блеснит,
И выются легкие туники.
Стихи Софокловы порывисто звучат;
Венки лавровые торжественно летят;
С медоточивых уст любимца Эпикура
Архонты, воины, служители Амура
Спешат прекрасную науку изучить:
Как жизнью жить, как наслаждение пить.
Но вот Аспазия! Не смеет идохнуть
Смятенный юноша, при черных глаз сих встрече.
Как жарки те уста! как пламенны те речи!
И темные как ночь, те кудри как-нибудь,
Волнуясь, падают на грудь,
На беломраморные плечи.
Но что при звуке чаш тимпанов дикой вой?
Плющем увенчаны вакхические девы,

Бегут нестройною, неистовой толпой
В священный лес; всё скрылось... что вы? где вы?..

Но вы пропали, я один.
Опять тоска, опять досада;
Хотя бы Фавн пришел с долин;
Хотя б прекрасная Дриада
Мне показалась в мраке сада.
О, как чудесно вы свой мир
Мечтою, греки, населили!
Как вы его обворожили!
А наш — и беден он, и сир,
И расквадрачен весь на мили.

И снова новые мечты
Его, смеясь, обнимают;
Его воздушно поднимают
Из океана суеты.

КАРТИНА IV

В стране, где сверкают живые ключи;
Где, чудно сияя, блистают лучи;
Дыхание амры и розы ночной
Роскошно объемлет эфир голубой;
И в воздухе тучи курений висят;
Плоды мангустана золотые горят;
Лугов Кандагарских сверкает ковер;
И смело накинута небесный шатер;
Роскошно валится дождь яркий цветов,
То блещут, трепещут рои мотыльков; —
Я вижу там Пери: в забвеньи она
Не видит, не внемлет, мечтаний полна.
Как солнца два, очи небесно горят;
Как Гемасагара, так кудри блестят;
Дыхание — лилий серебряных чад,
Когда засыпает истомленный сад
И ветер их вздохи развеет порой;
А голос, как звуки сириды ночной,
Или трепетанье серебряных крыл,
Когда ими звукнет, резвясь, Исразил,
Иль плески Хиндары таинственных струй;
А что же улыбка? А что ж поцелуй?
Но вижу, как воздух, она уж летит,
В края поднебесны, к родимым спешит.
Постой, оглянися! Не внемлет она.
И в радуге тонет, и вот не видна.
Но воспоминанье мир долго хранит,
И благоуханьем весь воздух обвит.

Живого юности стремленья
Так испестрялися мечты.
Порой небесного черты,
Души прекрасной впечатленья,

На нем лежали; но чего
В волненьях сердца своего
Искал он думою неясной,
Чего желал, чего хотел,
К чему так пламенно летел
Душой и жадною, и страстной,
Как будто мир желал обнять, —
Того и сам не мог понять.
Ему казалось душно, пыльно
В сей позаброшенной стране;
И сердце билось сильно, сильно
По дальней, дальней стороне.
Тогда когда б вы повидали,
Как воздымалась буйно грудь,
Как взоры гордо трепетали,
Как сердце жаждало прильнуть
К своей мечте, мечте неясной;
Какой в нем пыл кипел прекрасной;
Какая жаркая слеза

Живые наполнила глаза.

КАРТИНА VI

От Висмара в двух милях та деревня,
Где ограничился лиц наших мир.
Не знаю, как теперь, но Люненсдорфом
Она тогда, веселая, звалась.
Уж издали белеет скромный домик
Вильгельма Бауха, мызника. — Давно,
Женившись на дочери пастора,
Его построил он! Веселый домик!
Он выкрашен зеленой краской, крыт
Красивою и звонкой черепицей;
Вокруг каштаны старые стоят,
Нависши ветвями, как будто в окна
Хотят продраться; из-за них мелькает
Решетка из прекрасных лоз, красиво
И хитро сделана самим Вильгельмом;
По ней висит и змейкой вьется хмель;
С окна протянут шест, на нем белье
Блестит белое пред солнцем. Вот
В пролом на чердаке толпится стая
Мохнатых голубей; протяжно хлощут
Индейки; хлопая встречает день
Крикун петух и по двору вот важно,
Меж пестрых кур, он кучи разгребает
Зернистые; гуляют тут же две
Ручные козы и резвяся щиплют
Душистую траву. Давно курился
Уж дым из белых труб, курчаво он
Вился и облака приумножал.
С той стороны, где с стен валилась краска
И серые торчали кирпичи,
Где древние каштаны стлали тень,
Которую перебегало солнце,
Когда вершину их ветер резво колыхал, —
Под тенью тех деревьев вечно милых
Стоял с утра дубовый стол, весь чистой

Покрытый скатертью и весь уставлен
Душистой яствой: желтый вкусный сыр,
Редис и масло в фарфоровой утке,
И пиво, и вино, и сладкой бишеф,
И сахар, и коричневые вафли;
В корзине спелые, блестящие плоды:
Прозрачный грозд, душистая малина,
И как янтарь желтеющие груши,
И сливы синие, и яркий персик,
В затейливом виднелось всё порядке.
Сегодня праздновал живой Вильгельм
Рожденье дорогой своей супруги,
С пастором и драгими дочерьми:
Луизой старшей и меньшою Фанни.
Но Фанни нет, она давно пошла
Звать Ганца и не возвращалась. Верно,
Он где-нибудь опять в раздумьи бродит.
А милая Луиза всё глядит
Внимательно на темное окно
Соседа Ганца. Два шага всего ведь
К нему; но не пошла моя Луиза:
Чтоб не заметил он в ее лице
Тоски докучливой, чтоб не прочел
В ее глазах он едкого упрека.
Вот говорит Вильгельм, отец, Луизе:
«Смотри, ты Ганца пожури порядком:
Зачем он к нам так долго не идет?
Ведь ты его сама избаловала».
И вот дитя-Луиза так в ответ:
«Боюсь журить прекрасного я Ганца:
И без того он болен, бледен, худ...»
— «Что за болезнь», сказала мать,
Живая Берта: «не болезнь, тоска
Незванная к нему сама пристала;
Вот женится, и отпадет тоска.
Так молодой побег, совсем приглохший,
Опрыснутый дождем, в миг зацветет;
И что ж жена, как не веселье мужа?»
«Речь умная», седой пастор примолвил:

«Всё, верь, пройдет, когда захочет бог,
И будь во всем его святая воля». —
Уже два раза он из трубки выбивал
Золу, и в спор вступал с Вильгельмом,
Разговорясь про новости газет,
Про злой неурожай, про греков и про турок,
Про Мисолунги, про дела войны,
Про славного вождя Колокотрони,
Про Канинга, про парламент,
Про бедствия и мятежи в Мадрите.
Как вдруг Луиза вскрикнула и мигом,
Увидя Ганца, бросилась к нему.
Воздушный стан ее обнявши стройный,
С волнением юноша ее поцеловал.
Оборотясь к нему, вот молвит пастор:
«Эх, стыдно, Ганц, забыть своего друга!
Да что, коли уже забыл Луизу,
Об нас ли, стариках, и думать?» — «Полно
Тебе всё Ганца, папенька, журить»,
Сказала Берта: «лучше сядем мы
Теперь за стол, не то простынет всё:
И каша с рисом и вином душистым,
И сахарный горох, каплун горячий,
Зажаренный с изюмом в масле». Вот
За стол они садятся мирно;
И скоро вмиг вино всё оживило
И, светлое, смех в душу пролило.
Старик скрипач и Фриц на звонкой флейте
Согласно грянули хозяйке в честь.
Все понеслись и закружились в вальсе.
Развеселясь, румяный наш Вильгельм
Пустился сам с своей женой, как с павой;
Как вихорь, неся Ганц с своей Луизой
В бурливом вальсе; и пред ними мир
Вертелся весь в чудесном, шумном строе.
А милая Луиза нидохнуть,
Ни посмотреть вокруг не может, вся
В движеньи потерялась. Ими
Не налюбуясь, говорит пастор:

«Любезная, прекрасная чета!
Мила моя веселая Луиза,
Прекрасен и умен, и скромн Ганц; —
Сотворены они уж друг для друга
И счастливо свою жизнь проведут.
Благодарю тебя, о боже милосердый!
Что ниспослал на старость благодать,
Мои продлил дряхлеющие силы —
Чтобы узреть таких прекрасных внучат,
Чтобы сказать, прощаясь с ветхим телом;
Прекрасное я видел на земли».

КАРТИНА VII

С прохладой спокойный тихий вечер
Спускается; прощальные лучи
Целуют где-где сумрачное море;
И искрами живыми, золотыми
Деревья тронуты; и вдалеке
Виднеют, сквозь туман морской, утесы,
Все разноцветные. Спокойно всё.
Пастушких лишь рожков унывный голос
Несется вдаль с веселых берегов,
Да тихий шум в воде всплеснувшей рыбы
Чуть пробежит и вздернет море рябью,
Да ласточка, крылом черпнувши моря,
Круги по воздуху скользя дает.
Вот заблестел вдали, как точка, катер;
А кто же в нем, в том катере, сидит?
Сидит пастор, наш старец седовласый
И с дорогой супругою Вильгельм;
А резвая всегда шалунья Фанни,
С удой в руках и свесившись с перил,
Смеясь, рученкою болтала волны;
Возле кормы с Луизой милой Ганц.
И долго все в молчаньи любовались:
Как за кормой широкая ходила
Волна и в брызгах огнецветных, вдруг
Веслом разорванная, трепетала;
Как разъяснялась розовая дальность
И южный ветер дыханье навевал.
И вот пастор, исполнен умиления,
Проговорил: «Как мил сей божий вечер!
Прекрасен, тих он, как благая жизнь
Безгрешного; она ведь также мирно
Кончает путь, и слезы умиления
Священный прах, прекрасные, кропят.
Пора и мне уж; срок назначен,
И скоро, скоро я не буду ваш,

Но эдак ли прекрасно опочию?..»
Все прослезились. Ганц, который песню
Наигрывал на сладостном гобое,
Задумался и выронил гобой;
И снова сон какой-то осенил
Его чело; далеко мчались мысли,
И чудное на душу натекло.
И вот ему так говорит Луиза:
«Скажи мне, Ганц, когда еще ты любишь
Меня, когда я пробудить могу
Хоть жалость, хоть живое состраданье
В душе твоей, не мучь меня, скажи, —
Зачем один с какой-то книгой
Ты ночь сидишь? (мне видно всё,
И окнами ведь друг мы против друга).
Зачем дичишься всех? зачем грустишь?
О, как меня твой грустный вид тревожит!
О, как меня печаль твоя печалит!»
И, тронутый, смутился Ганц;
Ее к груди с тоскою прижимает,
И брызнула невольная слеза.
«Не спрашивай меня, моя Луиза,
И беспокойством сим тоски не множь.
Когда ж кажусь погружен в мысли —
Верь, занят и тогда тобой одною,
И думаю я, как бы отвратить
Все от тебя печальные сомненья,
Как радостью твое наполнить сердце,
Как бы души твоей хранить покой,
Оберегать твой детский сон невинный:
Чтобы недоброе не приближалось,
Чтобы и тень тоски не прикасалась,
Чтоб счастье твое всегда цвело».
Спустясь к нему головкою на грудь,
В избытке чувств, в признательности сердца
Ни слова вымолвить она не может. —
По берегу неслася лодка плавно
И вдруг причалила. Все вышли
Вмиг из нее. «Ну! берегитесь, дети», —

Сказал Вильгельм: «здесь сыро и роса,
Чтоб не нажить несносного вам кашля». —
Дорогой Ганц наш мыслит: «что же будет,
Когда услышит то, чего и знать бы
Не должно ей?» И на нее глядит
И чувствует он в сердце укоризну:
Как будто бы недоброе что сделал,
Как будто бы пред богом лицемерил.

КАРТИНА VIII

На башне бьет час полуночный.
Так, это час, час дум урочный,
Как Ганц один всегда сидит!
Свет лампы перед ним дрожит
И бледно сумрак освещает,
Как бы сомненья разливает.
Всё спит. Ничей блудящий взор
На поле никого не встретит;
И, как далекий разговор,
Волна шумит, а месяц светит.
Всё тихо, дышит ночь одна.
Теперь его глубоких дум
Не потревожит дневный шум:
Над ним такая ж тишина.

А что ж она? — Встает она,
Садится прямо у окна:
«Он не посмотрит, не приметит,
А насмотрюсь я на него;
Не спит для счастья моего!..
Благослови, господь, его!»

Волна шумит, а месяц светит.
И вот над нею вьется сон
И голову невольно клонит.
Но Ганц всё так же в мыслях тонет,
В глубь их далеко погружен.

1.

Всё решено. Теперь ужели
Мне здесь душою погибать?
И не узнать иной мне цели?
И цели лучшей не сыскать?

Себя обречь бесславью в жертву?
При жизни быть для мира мертву?

2.

Душой ли, славу полюбившей,
Ничтожность в мире полюбить?
Душой ли, к счастью не остывшей,
Волненья мира не испытать?
И в нем прекрасного не встретить?
Существованья не отметить?

3.

Зачем влечете так к себе вы,
Земли роскошные края?
И день и ночь, как птиц напевы,
Призывный голос слышу я;
И день и ночь мечтами скован,
Я вами, вами очарован.

4.

Я ваш! я ваш! из сей пустыни
Вниду я в райские места;
Как пилигрим бредет к святыне,
.....
Корабль пойдет, забрызжут волны;
Им чувства вслед, веселья полны.

5.

И он спадет, покров неясный,
Под коим знала вас мечта,
И мир прекрасный, мир прекрасный

Отворит дивные врата,
Приветить юношу готовый
И в наслажденьях вечно новый.

6.

Творцы чудесных впечатлений!
Резец ваш, кисть увижу я,
И ваших пламенных творений
Душа исполнится моя.
Шуми ж, мой океан широкий!
Неси корабль мой одинокий!

7.

А ты прости, мой угол тесный,
И лес, и поле! луг, прости!
Кропи вас чаще дождь небесный!
И дай бог долее цвести!
По вас душа как будто страж дет,
В последний раз обнять вас жаждет

8.

Прости, мой ангел безмятежный!
Чела слезами не кропи!
Не предавайсь тоске мятежной
И Ганца бедного прости!
Не плачь, не плачь, я скоро буду,
Я возвращусь — тебя ль забуду?..

КАРТИНА IX

Кто это позднею порой
Ступает тихо, осторожно?
Видна котомка за спиной,
Посох за поясом дорожный.
Направо домик перед ним,
Налево дальняя дорога,
Итти путем он хочет сим
И просит твердости у бога.
Но мукой тайною томим,
Назад он ноги обращает
И в домик тот он поспешает.

Одно окно открыто в нем;
Облокотясь, пред тем окном
Краса-девица поживает,
И, вея ветер над ней крылом,
Ей сны чудесные внушает;
И, ими, милая, полна,
Вот улыбается она.
С душеволненьем к ней подходит...
Стеснилась грудь; дрожит слеза...
И на прекрасную наводит
Свои блестящие глаза.
Он наклонился к ней, пылает,
Ее целует и стенает.
И, вздрогнув, быстро он бежит
Опять дорогою далекой;
Но мрачен беспокойный вид,
Но грустно в сей душе глубокой.
Вот оглянулся он назад:
Но уж туман окрестность кроет,
И пуще юноши грудь ноет,
Прощальный посылая взгляд.
Ветр, пробудившись, суровой
Качнул зеленою дубровой.

Исчезло всё в дали пустой.
Сквозь сон лишь смутною порой —
Готлиб привратник будто слышал,
Что из калитки кто-то вышел,
Да верный пес, как бы в укор,
Пролаял звучно на весь двор.

КАРТИНА X

Не всходит долго светлый вождь.
Ненастно утро; на поляны
Валятся серые туманы;
Звенит по кровлям частый дождь.
С зарей красавица проснулась;
Сама дивится, что она
Проспала ночь всю у окна.
Поправив кудри, улыбнулась,
Но, против воли, взор живой,
Блеснул досадною слезой.
«Что Ганц так долго не приходит?
Он обещал мне быть чуть свет.
Какой же день! тоску наводит;
Туман густой по полю ходит,
И ветер свистит; а Ганца нет».

Полна живого нетерпенья,
Глядит на милое окно:
Не отворяется оно.
Ганц, верно, спит, и сновиденья
Ему творят любой предмет;
Но день давно уж. Рвут долины
Ручьи дождя; дубов вершины
Шумят; а Ганца нет, как нет.

Уж скоро полдень. Неприметно
Туман уходит; лес молчит;
Гром в размышлении гремит
Вдали... Дугою семицветной
Горит на небе райский свет;
Унизан искрами дуб древний;
И песни звонкие с деревни
Звучат; а Ганца нет, как нет.

Что б это значило?.. находит

Злодейка грусть; слух утомлен
Считать часы... Вот кто-то входит
И в дверь... Он! он!.. ах, нет, не он!
В халате розовом покойном,
В цветном переднике с каймой,
Приходит Берта: «Ангел мой!
Скажи, что случилось с тобой?
Ты ночь всю спала беспокойно;
Ты вся томна, ты вся бледна.
Не дождь ли помешал шумливый?
Или ревущая волна?
Или петух, буян крикливый,
Всю ночь не ведающий сна?
Иль потревожил дух нечистой
Во сне покой девицы чистой,
Навеял черную печаль?
Скажи, тебя всем сердцем жаль!» —

«Нет, не мешал мне дождь шумливый,
И не ревущая волна,
И не петух, буян крикливый,
Всю ночь не ведающий сна;
Не эти сны, не те печали
Мне грудь младую взволновали.
Не ими дух мой возмущен,
Иной мне снился дивный сон.

Мне снилось: в темной я пустыне,
Вокруг меня туман и глушь.
И на болотистой равнине
Нет места, где была бы сушь.
Тяжелый запах; топко, вязко;
Что шаг, то бездна подо мной:
Боюсь я ступить ногой;
И вдруг мне сделалось так тяжело,
Так тяжело, что нельзя сказать...
Где ни возьмись Ганц дикий, странный,
— Бежала кровь, струясь из раны —
Вдруг начал надо мной рыдать;

Но, вместо слез, лились потоки
Какой-то мутная воды...
Проснулась я: на грудь, на щеки,
На кудри русой головы,
Бежал ручьями дождь досадной;
И было сердцу не отрадно.
Меня предчувствие берет...
И я кудрей не выжимала;
И я всё утро тосковала;
Где он? и что с ним? что нейдет?»

Стоит, качает головою,
Разумная, пред нею мать:
«Ну, дочка! мне с твоей бедою,
Не знаю, как уж совладать.
Пойдем к нему, узнаем сами,
Да будь святая сила с нами!»

Вот входят в комнату оне;
Но в ней все пусто. В стороне
Лежит, в густой пыли, том давний,
Платон и Шиллер своенравный,
Петрарка, Тик, Аристофан
Да позабытый Винкельман;
Куски изодранной бумаги;
На полке — свежие цветы;
Перо, которым, полн отваги,
Передавал свои мечты.
Но на столе мелькнуло что-то.
Записка!.. с трепетом взяла
Луиза в руки. От кого-то?
К кому?.. И что ж она прочла?..
Язык лепечет странно пени...
И вдруг упала на колени;
Ее кручина давит, жжет,
Гробовый холод в ней течет.

КАРТИНА XI

Ты посмотри, тиран жестокий,
На грусть убития души!
Как вянет цвет сей одинокий,
Забытый в пасмурной глуши!
Вглядись, взглядишь в свое творенье!
Ее ты счастья лишил
И жизни радость претворил
В тоску ей, в адское мученье,
В гнездо разоренных могил.
О, как она тебя любила!
С каким восторгом чувств живым
Простые речи говорила!
И как внимал речам ты сим!
Как пламенен и как невинен
Был этот блеск ее очей!
Как часто ей, в тоске своей,
Тот день казался скучен, длинен,
Когда, раздумью предана,
Тебя не видела она.
И ты ль, и ты ль ее оставил?
Ты ль отвернулся от всего?
В страну чужую путь направил,
И для кого? и для чего?
Но посмотри, тиран жестокий:
Она всё также, под окном,
Сидит и ждет в тоске глубокой,
Не промелькнет ли милый в нем.
Уж гаснет день; сияет вечер;
На всё наброшен дивный блеск;
Прохладный вьется в небе ветер;
Волны чуть слышен дальний плеск.
Уже ночь тени настигает,
Но запад всё еще сияет.
Свирель чуть льется; а она
Сидит недвижно у окна.

НОЧНЫЕ ВИДЕНИЯ.

Темнеет, тухнет вечер красный;
Спит в упоении земля;
И вот на наши уж поля
Выходит важно месяц ясный.
И всё прозрачно, всё светло;
Сверкает море, как стекло. —

В небе чудные вот тени
Развились и свились,
И чудесно понесли
На небесные ступени.
Прояснилось: две свечи;
Двое рыцарей косматых;
Два зубчатые мечи
И чеканенные латы;
Что-то ищут; стали в ряд.
И зачем-то переходят;
И дерутся, и блестя;
И чего-то не находят...
Всё пропало, слилось с тмой;
Светит месяц над водой.
Блистательно всю рощу оглашает
Царь соловей. Звук тихо разнесен.
Чуть дышит ночь; земля сквозь сон
Мечтательно певцу внимает.
Лес не колышется; всё спит,
Лишь вдохновенна песнь звучит,

Показался дивной феи
Слитый в с воздуха дворец,
И в окне поет певец
Вдохновенные затеи.
На серебряном ковре,
Весь затканый облаками,
Чудный дух летит в огне;
Север, юг покрыл крылами.

Видит: фея спит в плену
За решеткою коральной;
Перламутную стену
Рушит он слезой хрустальной.
Обнялись... слились с тмой...
Светит месяц над водой.

Сквозь пар окрестность чуть сверкает.
Какую кучу тайных дум
Наводит моря странный шум!
Огромный кит спиной мелькает;
Рыбак закутался и спит;
А море всё шумит, шумит.

Вот из моря молодые
Девы чудные плывут;
Голубые, огневые
Волны белые гребут.
Призадумавшись, колышет
Грудь лилейную вода,
И красавица чуть дышет...
И роскошная нога
Стелет брызги в два ряда...
Улыбается, хохочет,
Страстно манит и зовет,
И задумчиво плывет,
Будто хочет и не хочет,
И задумчиво поет
Про себя, младу сирену,
Про коварную измену,
А на тверди голубой,
Светит месяц над водой.

Вот в стороне глухой кладбище:
Ограда ветхая кругом,
Кресты, камня... скрыто мхом
Немых покойников жилище.
Полет да крики только сов
Тревожат сон пустых гробов.

Подымается протяжно
В белом саване мертвец,
Кости пыльные он важно
Отирает, молодец.
С чела давнего хлад веет,
В глазе палевый огонь,
И под ним великой конь,
Необъятный, весь белеет
И всё более растет,
Скоро небо обоймет;
И покойники с покою
Страшной тянутся толпою.
Земля колетса и — бух
Тени разом в бездну... Уф!

И стало страшно ей; мгновенно
Она прихлопнула окно.
Всё в сердце трепетном смятенно,
И жар, и дрожь попеременно
По нем текут. В тоске оно.
Внимание развлечено.
Когда, рукою беспощадной,
Судьба надвинет камень хладный
На сердце бедное, — тогда,
Скажите, кто рассудку верен?
Чья против зол душа тверда?
Кто вечно тот же завсегда?
В несчастьи кто не суеверен?
Кто крепкой не бледнел душой
Перед ничтожною мечтой?

С боязнью, с горестию тайной,
В постель кидается она;
Но ждет напрасно в ложе сна.
В тме прошумит ли что случайно,
Скребунья-мышь ли пробежит, —
От вежд коварный сон летит.

КАРТИНА XIII

Печальны древности Афин.
Колон, статуй ряд обветшалый
Среди глухих стоит равнин.
Печален след веков усталых:
Изящный памятник разбит,
Изломлен немощный гранит,
Одни обломки уцелели.
Еще доныне величав,
Чернеет дряхлый архитрав,
И вьется плющ по капители;
Упал расщепленный карниз
В давно-заглохшие окопы.
Еще блестит сей дивный фриз,
Сии рельефные метопы;
Еще доныне здесь грустит
Коринфский орден многолепный,
— Рой ящериц по нем скользит —
На мир с презреньем он глядит;
Всё тот же он великолепный,
Времен минувших вдавлен в тму,
И без вниманья ко всему.

Печальны древности Афин.
Туманен ряд былых картин.
Облокотясь на мрамор хладный,
Напрасно путник алчет жадный
В душе бывое воскресить,
Напрасно силится развить
Протекших дел истлевший свиток, —
Ничтожен труд бессильных попыток;
Везде читает смутный взор
И разрушение, и позор.
Промеж колон чалма мелькает,
И мусульманин по стенам,
По сим обломкам, камням, рвам,

Коня свирепо напирает,
Останки с воплем разоряет.
Невыразимая печаль
Мгновенно путника объемлет,
Души он тяжкий ропот внемлет;
Ему и горестно, и жаль,
Зачем он путь сюда направил.
Не для истлевших ли могил
Кров безмятежный свой оставил,
Покой свой тихий позабыл?
Пускай бы в мыслях обитали
Сии воздушные мечты!
Пускай бы сердце волновали
Зерцалом чистой красоты!
Но и убийственно, и холодно
Разворожились вы теперь.
Безжалостно и беспощадно
Пред ним захлопнули вы дверь,
Сыны существенности жалкой,
Дверь в тихий мир мечтаний, жаркой! —
И грустно, медленной стопой
Руины путник покидает;
Клянется их забыть душой;
И всё невольно помышляет
О жертвах бренности слепой.

КАРТИНА XVI

Ушло два года. В мирном Люненсдорфе
По-прежнему красуется, цветет;
Всё те ж заботы, и забавы те же
Волнуют жителей покойные сердца.
Но не по-прежнему в семье Вильгельма:
Пастора уж давно на свете нет.
Окончив путь и тягостный, и трудный,
Не нашим сном он крепко опочил.
Все жители останки провожали
Священные, с слезами на глазах;
Его дела, поступки поминали:
Не он ли нам спасением служил?
Нас наделял своим духовным хлебом,
В словах добру прекрасно поучая.
Не он ли был утехой скорбящих;
Сирот и вдов нетрепетным щитом. —
В день праздничный, как кротко он, бывало,
Всходил на кафедру! и с умилением
Нам говорил про мучеников чистых,
Про тяжкие страдания Христовы,
А мы ему, растроганны, внимали,
Дивились и слезы проливали.

От Висмара когда кто держит путь,
Встречается налево от дороги
Ему кладбище: старые кресты
Склонились, обшиты мохом,
И времени изведены резцом.
Но промеж них белеет резко урна
На черном камне, и над ней смиренно
Два явора зеленые шумят,
Далеко хладной обнимая тенью. —
Тут бранные покоятся останки Пастора.
Вызвались на свой же счет
Сооружить над ним благие поселяне

Последний знак его существованья
В сем мире. Надпись с четырех сторон
Гласит, как жил и сколько мирных лет
Провел на пастве, и когда оставил
Свой долгий путь, и богу дух вручил. —

И в час, когда стыдливый развивает
Румяные восток свои власы;
Подымется по полю свежий ветер;
Посыплется алмазами роса;
В своих кустах малиновка зальется;
Полсолнца на земле всходя горит; —
К нему идут молодые поселанки,
С гвоздиками и розами в руках.
Увешают душистыми цветами,
Гирландою зеленой обовьют,
И снова в путь назначенный идут.
Из них одна, молодая, остается
И, опершись лилейною рукой,
Над ним сидит в раздумьи долго, долго,
Как будто бы о непостижном мыслит.
В задумчивой, скорбящей девице сей
Кто б не узнал печальные Луизы?
Давно в глазах веселье не блестит;
Не кажется невинная усмешка
В ее лице; не пробежит по нем,
Хотя ошибкой, радостное чувство;
Но как мила она и в грусти томной!
О, как возвышенен невинный этот взгляд!
Так светлый серафим тоскует
О пагубном паденьи человека.
Мила была счастливая Луиза,
Но как-то мне в несчастьи милее.
Осьмнадцать лет тогда минуло ей,
Когда преставился пастор разумный.
Всею детскою она своею душой
Богopodobного любила старца;
И думает в душевной глубине:
«Нет, не сбылись живые упованья

Твои. Как, добрый старец, ты желал
Нас обвенчать перед святым налоем,
Навеки наш союз соединить.
Как ты любил мечтательного Ганца! А он...»

Заглянем в хижину Вильгельма.
Уж осень. Холодно. И дома он
Вытачивал с искусством хитрым кружки
Из крепкого с слоями бука,
Затейливой резьбою украшая;
У ног его свернувшись лежал
Любимый друг, товарищ верный, Гектор.
А вот разумная хозяйка Берта
С утра уже заботливо хлопочет
О всем. Толпится также под окном
Гусей ватага долгошейных; так же
Неугомонные кудахчут куры;
Чиликают нахалы воробьи,
Весь день в навозной куче роясь.
Видали уж красавца снигиря;
И осенью давно запахло в поле,
И пожелтел давно зеленый лист,
И ласточки давно уж отлетели
За дальние, роскошные моря.
Кричит разумная хозяйка Берта:
«Так долго не годится быть Луизе!
Темнеет день. Теперь не то, что летом;
Уж сыро, мокро, и густой туман
Так холодом всего и пронимает.
Зачем бродить? беда мне с этой девкой;
Не выкинет она из мыслей Ганца;
А бог знает, он жив ли, или нет».
Не то совсем раздумывает Фанни,
За пядьцами сидя в своем углу.
Шестнадцать лет ей, и, полна тоски
И тайных дум по идеальном друге,
Рассеянно, невнятно говорит:
«И я бы так, и я б его любила». —

КАРТИНА XVII

Унывна осени пора;
Но день сегодняшний прекрасен:
На небе волны серебра,
И солнца лик блестящ и ясен.
Один дорогой почтовой
Бредет, с котомкой за спиной,
Печальный путник из чужбины.
Уныл, и томен он, и дик,
Идет согнувшись, как старик;
В нем Ганца нет и половины.
Полупотухший бродит взор
По злачным холмам, желтым нивам,
По разноцветной цепи гор.
Как бы в забвении счастливом,
Его касается мечта;
Но мысль не тем уж занята. —
Он в думы крепкие погружен.
Ему покой теперь бы нужен.

Прошел он дальний, видно, путь;
Страдает больно, видно, грудь;
Душа страдает, жалко ноя;
Ему теперь не до покоя.

О чем же думы крепки те?
Дивится сам он суете:
Как был измучен он судьбою;
И зло смеется над собою,
Что поверял своей мечтой
Свет ненавистный, слабоумной;
Что задивился в блеск пустой
Своей душою неразумной;
Что, не колеблясь, смело он
Сим людям кинулся в объятья;
И, околдован, охмелен,

В их злые верил предприятия. —
Как гробы холодны они;
Как тварь презреннейшая низки;
Корысть и почести одни
Им лишь и дороги, и близки.
Они позорят дивный дар:
И попирают вдохновенье,
И презирают откровенье;
Их холоден притворный жар,
И губительно их пробужденье.
О, кто б нетрепетно проник
В их усыпительный язык!
Как ядовито их дыханье!
Как ложно сердца трепетанье!
Как их коварна голова!
Как пустозвучны их слова!

И много истин он, печальный,
Теперь изведал и узнал,
Но сам счастливее ли стал
Во глубине души опальной?
Лучистой, дальнею звездой
Его влекла, тянула слава,
Но ложен чад ее густой,
Горька блестящая отравя. —

Склоняется на запад день,
Вечерняя длиннеет тень.
И облаков блестящих, белых
Ярче алые края;
На листьях темных, пожелтелых
Сверкает золота струя.
И вот завидел странник бедный
Свои родимые луга.
И взор мгновенно вспыхнул бледный,
Блеснула жаркая слеза.
Рой прежних, тех забав невинных
И тех проказ, тех дум старинных —
Всё разом налегло на грудь

И не дает емудохнуть.
И мыслит он: что это значит?..
И, как ребенок слабый, плачет.

ДУМА.

Благословен тот дивный миг,
Когда в поре самопознания,
В поре могучих сил своих,
Тот, небом избранный, постиг
Цель высшую существования;
Когда не грез пустая тень,
Когда не славы блеск мишурный
Его тревожат ночь и день,
Его влекут в мир шумный, бурный;
Но мысль и крепка, и бодра
Его одна объемлет, мучит
Желаньем блага и добра;
Его трудам великим учит.
Для них он жизни не щадит.
Вотще безумно чернь кричит:
Он тверд средь сих живых обломков.
И только слышит, как шумит
Благословение потомков.

Когда ж коварные мечты
Взволнуют жаждой яркой доли,
А нет в душе железной воли,
Нет сил стоять средь суеты, —
Не лучше ль в тишине укрошной
По полю жизни протекать,
Семьей довольствоваться скромной
И шуму света не внимать?

КАРТИНА XVIII

Выходят звезды плавным хором,
Обозревают кротким взором
Опочивающий весь мир;
Блюдут сон тихий человека,
Ниспосылают добрым мир;
А злым яд гибельный упрека.
Зачем же, звезды, грустным вы
Не посылаете покоя?
Для горемычной головы
Вы — радость, и, на вас покоя
Свой грустный стосковалый взор,
Страстей он слышит разговор
В душе, и вас он призывает,
И вам он пени поверяет.
По-прежнему всегда томна.
Еще Луиза не разделась;
Не спится ей; в мечтах она
На ночь осенню загляделась.
Предмет и тот же, и один...
И вот восторг к ней в душу входит:
Песнь стройную она заводит,
Звучит веселый клавесин.

Внимая шуму листопада,
Промеж деревьев, где сквозит
Из стен решетчатых ограда,
В забвеньи сладостном, у сада,
Наш Ганц закутавшись стоит.
И что же с ним, когда он звуки
Давно-знакомые узнал,
И голос тот, со дня разлуки
Что долго, долго не слышал;
И песню ту, что в страсти жаркой,
В любви, в избытке дивных сил,
Под строй души в напевах яркой,

Ее, восторженный, сложил?
Чрез сад она звенит, несется
И в упоеньи тихом льется:

Тебя зову! тебя зову!
Твоей улыбкою чаруюсь,
С тобой не час, не два сижу,
С тебя очей я не свожу:
Дивуюсь, не надивуюсь.

* * *

Поешь ли ты — и звон речей
Твоих, таинственный, невинный,
Ударит в воздух ли пустынный —
Звук в небе льется соловьиный,
Гремит серебряный ручей.

* * *

Приди ко мне, прижмись ко мне
В жару чудесного волненья.
Пылает сердце в тишине;
Они горят, они в огне,
Твои покойные движенья.

* * *

Я без тебя грущу, томлюсь,
И позабыть тебя нет силы.
И пробуждаюсь ли, ложусь,
Всё о тебе молюсь, молюсь,
Всё о тебе, мой ангел милый.

* * *

И вот почудилось ей:
Чудесным заревом очей
Возле нее блистает кто-то,
И слышит вздох она кого-то,
И страх, и дрожь ее берет...
И оглянулась...
«Ганц!»...
О, кто поймет
Всю эту радость чудной встречи!
И взоров пламенные речи!
И этот чувств счастливый гнет!
О, кто так пламенно опишет
Сию душевную волну,
Когда она грудь рвет и пышет,
Терзает сердца глубину,
А сам дрожишь, в весельи млеешь,
Ни дум, ни слов найти не смеешь;
В восторге, в куче сладких мук,
Сольешься в стройный, светлый звук!

Опомнясь, Ганц глядит сквозь слезы
В глаза подруги своя;
И мыслит: «Полно, это грезы;
Пусть же не просыпаюсь я.
Она всё та ж, и так любила
Меня всей детскою душой!
Чело печалию накрыла,
Румянец свежий иссушила,
Губила век свой молодой;
А я, безумный, бестолковой,
Летел искать кручины новой!..»
И спал страданий тяжкий сон
С его души; живой, спокойной,
Переродился снова он.
На время бурей возмущен,
Так снова блещет мир наш стройной;
В огне закаленный булат
Так снова ярче во сто крат.

Пируют гости, рюмки, чаши
Кругом обходят и гремят; —
И старики болтают наши;
И в танцах юноши кипят.
Звучит протяжным, шумным громом
Музыка яркая весь день;
Ворочает веселье домом;
Гостеприимно блещет сень.
И поселянки молодые
Чету влюбленную дарят:
Несут фиалки голубые,
Несут им розы огневые,
Их убирают и шумят:
Пусть век цветут их дни молодые,
Как те фиалки полевые;
Сердца любовью да горят,
Как эти розы огневые! —

И в упоеньи, в неге чувств
Заране юноша трепещет, —
И светлый взор весельем блещет;
И беспритворно, без искусств,
Оковы сбросив принужденья,
Вкушает сердце наслажденья.
И вас, коварные мечты,
Боготворить уж он не станет, —
Земной поклонник красоты.
Но что ж опять его туманит?
(Как непонятен человек!)
Прощаясь с ними он навек, —
Как бы по старом друге верном,
Грустит в забвении усердном.
Так в заключеньи школьник ждет,
Когда желанный срок придет.
Лета к концу его ученья —
Он полон дум и упоенья,
Мечты воздушные ведет:
Он независимый, он вольный,
Собой и миром всем довольный,

Но, расставаясь с семьей
Своих товарищей, душой
Делил с кем шалость, труд, покой, —
И размышляет он, и стонет,
И с невыразною тоской
Слезу невольную уронит.

ЭПИЛОГ

В уединении, в пустыне,
В никем незнаемой глуши,
В моей неведомой святыне,
Так созидаются отныне
Мечтанья тихие души.
Дойдет ли звук подобно шуму,
Взволнует ли кого-нибудь,
Живую юноши ли думу,
Иль девы пламенную грудь?
Веду с невольным умилением
Я песню тихую мою,
И с неразгаданным волненьем
Свою Германию пою.
Страна высоких помышлений!
Воздушных призраков страна!
О, как тобой душа полна!
Тебя обняв, как некий Гений,
Великий Гётте бережет,
И чудным строем песнопений
Свекает облака забот. —

КОММЕНТАРИИ К «ГАНЦУ КЮХЕЛЬГАРТЕНУ»

I.

Принадлежность Гоголю идиллии «Ганц Кюхельgarten», не переиздававшейся при жизни писателя, была впервые установлена в печати П. А. Кулишом в анонимной заметке 1852 года «Несколько черт для биографии Н. В. Гоголя». Опираясь на свидетельства Н. Я. Прокоповича, друга и соученика Гоголя по нежинской Гимназии высших наук, Кулиш сообщал, что «никто из его <Гоголя> покровителей не знал о стихотворном сочинении, которым он начал свое печатное поприще», и что «до сих пор оно было известно только одному человеку, если не считать неграмотного Гоголева слуги, малороссиянина Якима — это „Ганц Кюхельgarten, идиллия в картинах“, написанная, как сказано на заглавном листе, в 1827 г. Гоголь издал ее вскоре по приезде в столицу под псевдонимом В. Алова и роздал экземпляры книгопродавцам на комиссию» («Отечественные Записки» 1852, № 4, отд. VIII, стр. 199). По этому указанию Н. П. Трушковский поместил «Ганца Кюхельгартена» в т. VI «Сочинений Н. В. Гоголя» (М., 1856, стр. 309–369), но документальное подтверждение сообщение П. А. Кулиша получило только значительно позднее, когда в 1909 г. в «Русском Архиве» (№ 4, стр. 635) было опубликовано недатированное письмо Гоголя к цензору К. С. Сербиновичу с просьбой об ускорении выдачи разрешения на издание «Ганца Кюхельгартена».

Авторская датировка идиллии вызывала сомнения уже у друзей писателя и его первого биографа. П. А. Кулиш, повторив в статье «Выправка некоторых биографических известий о Гоголе» указание на 1827 г., как дату создания «Ганца Кюхельгартена», сопровождал в «Опыте биографии Н. В. Гоголя» и «Записках о жизни Н. В. Гоголя» свои сообщения осторожным примечанием, излагавшим колебания Н. Я. Прокоповича. Последний склонялся к мысли, что «Ганц Кюхельgarten» написан в 1829 г. и помечен (на титульном листе) ложной датой: «Если бы Гоголь написал свою поэму в Гимназии... то хоть отрывок из нее был бы известен кому-нибудь из тогдашней его публики. Нет, эта поэма была

написана именно в то время, когда он проживал без дела в Петербурге».

Мысль о том, что Гоголь, располагая читателей и критику к снисхождению, прибег к мистифицированной дате, вполне допустима, тем более, что явной мистификацией было предисловие к книжке, написанное от имени неведомых издателей (идиллия была издана самим Гоголем). Однако, Н. С. Тихонравов и В. И. Шенрок настаивали на авторской датировке. Сомнения Прокоповича отводились ими ссылкой на чрезвычайную скрытность Гоголя, особенно в последние годы пребывания в Гимназии, а возможность отнесения идиллии к 1827 г. аргументировалась совпадениями мыслей и настроений Ганца с собственными высказываниями Гоголя в письмах этого периода (Соч., 10 изд., V, стр. 544; Шенрок, «Материалы», I, стр. 159–161). И. В. Шаровольский, уделивший в специальной статье о «Ганце Кюхельгартене» много внимания вопросу датировки, соглашался с Прокоповичем в утверждении, что Гоголь в гимназические годы не мог бы скрыть идиллии от товарищей. Трактую, подобно Тихонравову и Шенроку, образ Ганца в биографическом плане, Шаровольский приводит параллели к тексту идиллии из позднейших писем Гоголя, в частности начала 1829 г. В конечном выводе исследователь заключал, что картины I–XVI были написаны во второй половине 1828 г., когда Гоголь, по окончании Гимназии, жил в Васильевке, а картины XVII–XVIII, в которых автор «заставляет своего героя отказаться от идеальных стремлений», уже в Петербурге, под влиянием его собственных житейских неудач. К еще более схематичным выводам пришел, основываясь на столь же шатких психологических соображениях, Стендер-Петерсен. Этот исследователь различает в «Ганце Кюхельгартене» собственно идиллические и романтические части. Создание первых (картины I, VI, VII и конец XVIII) он относит к концу лета 1827 г., когда автором якобы всецело владели идиллические настроения, а окончание работы — к лету 1828 г., — к этому времени Стендер-Петерсен относит знакомство и увлечение Гоголя немецкими романтиками. Построение Стендер-Петерсена подверглось разрушительной и вполне основательной критике В. Адамса.

Опыт всех этих изучений обнаружил недостаточность биографического анализа для выяснения вопроса о времени создания «Ганца Кюхельгартена». Сопоставления с эпистолярными материалами убеждают, что датировка идиллии 1827 годом вполне допустима, хотя, базируясь на них, ее можно с равным основанием отнести и к 1828 и к началу 1829 года. Следовательно, возможность авторской мистификации в

дате ими отнюдь не исключается.

Не внесло ясности в вопрос о датировке и обследовании источников идиллии. Уже Кулиш (в «Опыте биографии Н. В. Гоголя») отметил, что образчиком для «Ганца Кюхельгартена» послужила идиллия Фосса «Луиза» (1783–1784), которую Гоголь мог читать в переводе П. Теряева: «Луиза, сельское стихотворение в 3 идиллиях. Соч. Ивана Фосса». СПб., 1820. В позднейшей литературе, продолжившей наблюдения Кулиша, было установлено, чем именно воспользовался молодой автор в идиллии Фосса (образ старого пастора, сентиментальная обрисовка сельского бюргерского быта). Однако, в «Ганце Кюхельгартене» гораздо сильнее проступают элементы романтической поэмы, чем сентиментальной идиллии, и подражание Фоссу сочетается в ней с несомненным воздействием Байрона, Шатобриана и Жуковского («Теон и Эсхин», баллады). Наконец, с особенной силой проявилось в «Ганце Кюхельгартене» пушкинское влияние, влияние всей поэтической системы Пушкина в целом. Что касается до отдельных сопоставлений, то они ведут преимущественно к «Евгению Онегину», к главе 5 и 6 романа. Сопоставлялись сон Луизы (в картине X) со сном Татьяны, описание могилы пастора (в картине XVI) с описанием могилы Ленского. Указывалось на большую близость эпилога поэмы к «Посвящению» к «Полтаве». Пятая глава «Евгения Онегина» появилась в печати 1 февраля 1828 г., шестая — в марте 1828, «Полтава» — в марте 1829. Однако и эти сопоставления, если признать их основательность, не решают вопроса о датировке «Ганца Кюхельгартена». Единственное заключение, которое из них можно сделать, сводится к тому, что Гоголь перед сдачей идиллии в печать пересматривал и дорабатывал ее текст.

Книжка «Ганц Кюхельгартен», помеченная цензурным разрешением от 7 мая 1829 г., вышла в свет в июне того же года (см. в «Московских Ведомостях» от 27 июня объявление о продаже у Ширяева книжки В. Алова, «полученной на сих днях из Петербурга»). В обращении она оставалась до конца июля. Под влиянием отрицательных отзывов Н. Полевого в «Московском Телеграфе» и анонимной рецензии в № 87 «Северной Пчелы» от 20 июля, Гоголь, по свидетельству Кулиша, «тотчас же в сопровождении верного своего слуги Якима отправился по книжным магазинам, собрал экземпляры, нашел в гостинице номер и сжег все до одного» («Отечественные Записки» 1852, № 4, отд. VIII, стр. 199). Сожжение произошло, очевидно, как предположил Н. С. Тихонравов, после

20 июля, то есть после второго печатного отзыва: «Оно совпадает по времени с внезапным решением Гоголя ехать за границу, — решением, о котором он уведомлял свою мать 24 июля» (Соч., 10 изд., V, стр. 542).

Сохранившиеся от истребления немногочисленные экземпляры отдельного издания «Ганца Кюхельгартена» представляют собою величайшую библиографическую редкость. В настоящем издании идиллия воспроизводится по экземпляру, хранящемуся в Государственной Публичной Библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, в Ленинграде, под шифром 840/71.

II.

Первым печатным отзывом о «Ганце Кюхельгартене» была неодобрительная рецензия Н. Полевого в «Московском Телеграфе» (1829, № 12). «Издатель сей книжки, — писал рецензент, — говорит, что сочинение г-на Алова не было предназначаемо для печати, но что важные для одного автора причины побудили его переменить свое намерение. Мы думаем, что еще важнейшие причины имел он не издавать своей идиллии. Достоинство следующих пяти стихов укажет на одну из сих причин:

Мне лютые дела не новость,
Но дьявола отрекся я,
И остальная жизнь моя —
Заплата малая моя —
За прежней жизни злую повесть...

Заплатою таких стихов должно бы быть сбережение оных под спудом».

Суждения другого рецензента, в «Северной Пчеле» (1829, № 87 от 20 июля), в общем совпадают с отзывом Н. Полевого: «В сочинителе заметно воображение и способность писать (со временем) хорошие стихи, ибо издатели говорят, что „это произведение его восемнадцатилетней юности“; но скажем откровенно: сии господа издатели напрасно „гордятся тем, что по возможности споспешествовали свету ознакомиться с созданием юного таланта“. В „Гансе Кюхельгартене“ столь много несообразностей, картины

часто так чудовищны, и авторская смелость в поэтических украшениях, в слоге и даже в стихосложении так безотчетлива, что свет ничего бы не потерял, когда бы сия первая попытка юного таланта залежалась под спудом. Не лучше ли б было дожидаться от сочинителя чего-нибудь более зрелого, обдуманного и обработанного». Лишь третий и последний критик, О. М. Сомов, в «Обзрении российской словесности за первую половину 1829 года» («Северные Цветы» на 1830 год, стр. 77–78), нашел для автора слова поощрения: «В сочинителе виден талант, обещающий в нем будущего поэта. Если он станет прилежнее обдумывать свои произведения и не станет спешить изданием их в свет тогда, когда они еще должны покоиться и укрепляться в силах под младенческою пеленою, то, конечно, надежды доброжелательной критики не будут обмануты».

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Ниже указывается только документальная и позднейшая исследовательская литература о «Ганце Кюхельгартене». Ссылки на современные Гоголю печатные критические отзывы приведены выше, в тексте комментария.

1. <П. А. Кулиш>. «Несколько черт для биографии Н. В. Гоголя» — «Отечественные Записки» 1852, № 4, отд. VIII, стр. 199 и сл.

2. <П. А. Кулиш>. «Выправка некоторых биографических известий о Гоголе» — «Отечественные Записки» 1853, № 2, отд. VII, стр. 111, 117.

3. Николай М. <П. А. Кулиш>. «Опыт биографии Гоголя». СПб., 1854, стр. 37–40.

4. Николай М. <П. А. Кулиш>. «Записки о жизни Гоголя», т. I, СПб., 1856, стр. 66 и сл.

5. Н. С. Тихонравов. «Ганц Кюхельгартен» (комментарий в «Сочинениях Н. В. Гоголя. Издание десятое», т. V, СПб., 1889, стр. 541–545).

6. В. И. Шенрок. «Материалы для биографии Гоголя», т. I, М., 1892 (гл. «Идиллия „Ганц Кюхельгартен“», стр. 154–168).

7. И. Шаровольский. «Юношеская идиллия Гоголя» — «Памяти Гоголя. Научно-литературный сборник, изданный Историческим Обществом Нестора-летописца под ред. Н. П. Дашкевича». Киев, 1902, отд. II, стр. 13–52.

8. Г. И. Чудаков. «Отношение творчества Н. В. Гоголя к западно-европейским литературам». Киев, 1908 (ч. II, гл. 1 «Юношеские опыты», стр. 63–79).

9. Н. К. Кульман. «„Ганц Кюхельгартен“ Гоголя и „Луиза“ Фосса». — «Известия ОРЯС», т. XIII, кн. 4 (1908), стр. 252–263.

10. Нестор Котляревский. «Гоголь» (1-е изд.: СПб., 1903, 4-е изд.: СПб., 1915; гл. II, стр. 14–23).

11. Н. И. Коробка. «Ганц Кюхельgarten» (комментарий в «Полном собрании сочинений Н. В. Гоголя», изд. «Деятель», т. I, СПб., 1915, стр. 361–365).

12. A. Stender-Petersen. «J. H. Voss und der junge Gogol» — «Edda», Bd. XV, Oslo, 1921, S. 98—128.

13. Василий Гиппиус. «Гоголь». Л., 1924 (гл. I, стр. 18–24).

14. В. Виноградов. «Гоголь и натуральная школа». Л., 1925, стр. 34–36 и 41–43.

15. V. Adams. «Gogols Erstlingswerk „Hans Küchelgarten“ im Lichte seines Natur- und Welterlebens» — «Zeitschrift für slavische Philologie», Bd. VIII, Heft 3/4, Leipzig, 1931, S. 323–368.

16. В. А. Десницкий. «Задачи изучения жизни и творчества Гоголя» — «Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. Под ред. В. В. Гиппиуса», т. II, Л., 1936 (о «Ганце Кюхельgartене», стр. 52–57; перепечатано в сборнике В. Десницкий. «На литературные темы», кн. 2. Л., 1936, стр. 357–364).